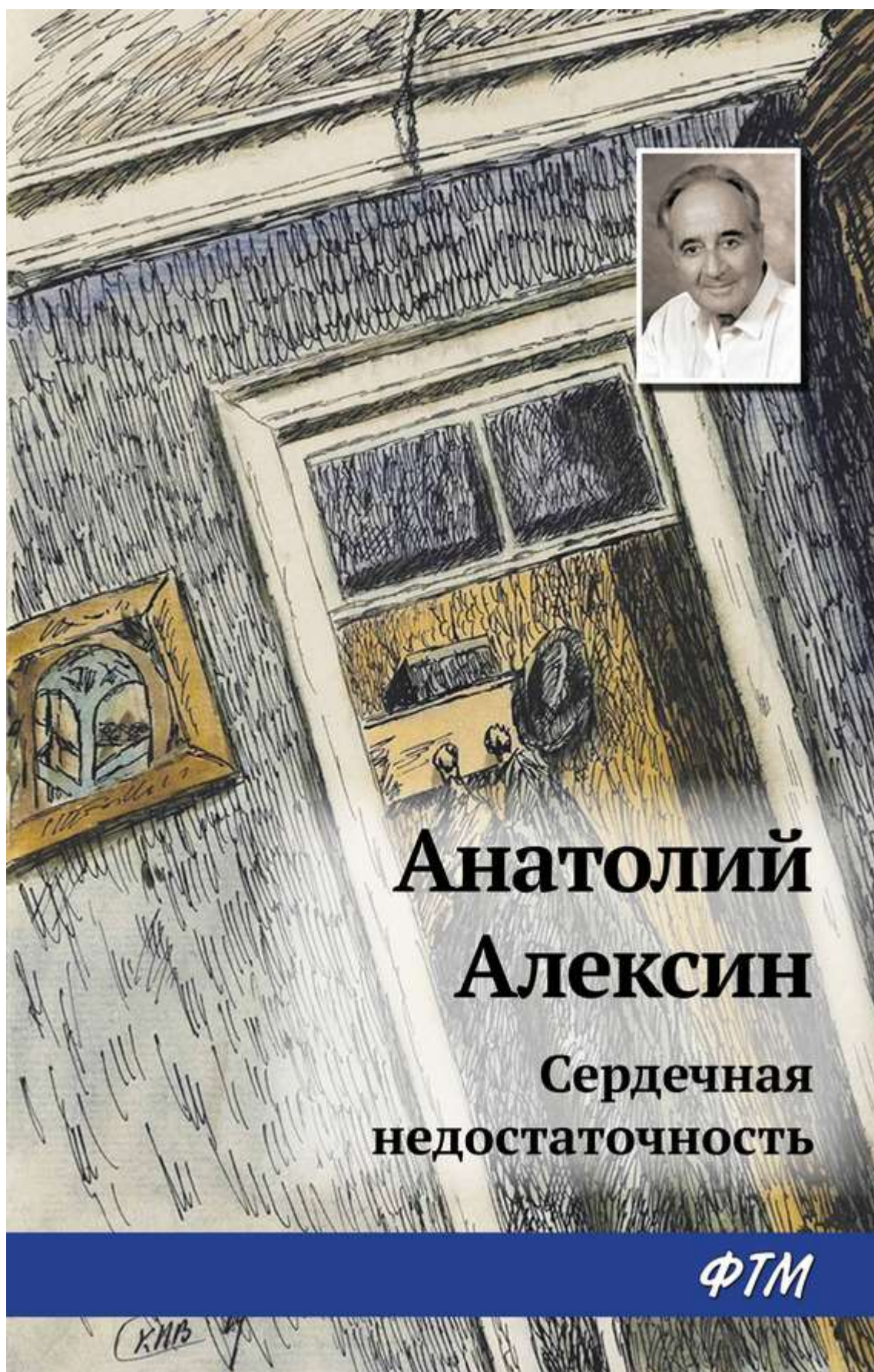


Анатолий Георгиевич Алексин
Сердечная недостаточность



Текст предоставлен правообладателем http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=118423
«Сердечная недостаточность»: ФТМ; Москва;

Аннотация

Драматизм отношений между самыми близкими людьми, мучительная память о трагическом прошлом... Анатолий Алексин никогда не осуждает и не выносит приговор – он остро и беспристрастно показывает самую суть героев, исподволь испытывая и читателя.

Анатолий Алексин Сердечная недостаточность

«Вы можете разорвать мое письмо, не прочитав его. Разрешите все же мне, как виновной, произнести последнее слово. Выслушайте меня! Я знаю, за уроки, за опыт надо „платить“. Но я заплатила за свой опыт чужой жизнью. Это преступление... Я понимаю. И, поверьте, проклинаю тот день, когда в длинном списке, напечатанном на машинке, увидела свою фамилию и подумала, что совершилось главное: я принята в университет. На самом-то деле... Разве может подобная строчка решить судьбу человека? За фактом последует другой, за праздником – болезнь, а за строчкой – следующая, быть может, совсем иная. Выслушайте меня!»

...Когда тот список наконец прикрепили к доске объявлений, а спина лаборантки из деканата перестала загоразивать его и я узрела свою фамилию в числе «принятых», мне уже не слышны были чужие вздохи, невидны слезы. Я скатилась по лестнице, зная, что внизу меня ждет Павлуша. Если бы даже случилось землетрясение, я все равно увидела бы его возле университетских дверей.

– Все в порядке! – провозгласила я. Он протянул мне букет, хотя остальные родители ничего, кроме волнений, с собою не принесли.

– Я тоже хотел подняться. Но вдруг бы мы разминулись?

Он всегда казался виноватым, когда преподносил что-нибудь мне или маме. А так как преподносил он почти каждый день, у него постоянно было лицо извиняющегося человека. «Или просто интеллигентного», – сказала мне как-то мама.

– Спасибо за цветы, – дежурно отреагировала я.

Трудно благодарить от души ежедневно. Все, наверно, может стать будничным: и заботы, и готовность пожертвовать за тебя жизнью. Несправедливые чувства... Но Павлуша другого отношения к себе и не ждал.

– Гладиолусов не было. Только гвоздики... Прости меня, – сказал он.

И мы направились к такси, которое, судя по счетчику, уже давно дожидалось моего появления.

– Вечером поедem в Дом художника! – сказал он. – Или журналиста...

– Журналиста? – переспросила я. – Будет пресс-конференция?

Он был вторым маминым мужем. Но вообще-то единственным, потому что первый, по мнению мамы, званий мужа и отца не заслуживал. Мама раз и навсегда присвоила ему титул: «эгоист». Она называла его так не со злостью, а, я бы сказала, с грустью, задумчиво, как бы сравнивая в этот момент с Павлушей.

– Он ни разу ничего не подарил тебе, – печально сообщала мама. – А ведь ты и сейчас обожаешь куклы!

Дарить мне куклы отцу было трудно: он работал инженером-нефтяником в каком-то сибирском поселке, где вряд ли был магазин игрушек.

Отец звонил в день моего рождения, то есть один раз в году. Раздавались анархичные междугородные звонки, и мама говорила:

– Он вспомнил!

Отец поздравлял, спрашивал, как я учусь.

– Отметился, – не с осуждением, а с грустью произносила мама, жалея отца, который лишил себя счастья отцовства. И благодарно поворачивала голову в Павлушину сторону.

– Я сделал что-то не то? – пугался Павлуша.

Он был высоким, полным, и от этого подвижность его проявлялась очень заметно. Он управлялся со своей тяжеловесностью, как хрупкий юный музыкант управляется с громоздкой виолончелью, созданной вроде бы не для него. Пухлое лицо, наивно оттопыренные губы диссонировали с густой мужской сединой. Все эти неожиданные сочетания создавали образ, который нам с мамой был дорог...

Отца моего мама нарекла «эгоистом», а Павлуше навсегда было дано звание «семьянин».

Расписание приемных экзаменов он знал наизусть. И перед каждым из них спрашивал меня по билетам, которые достал откуда-то из-под земли. Я любила, когда Павлуша доставал что-либо «из-под земли», потому что знала: именно там, под землей, таятся самые главные сокровища, именуемые полезными ископаемыми.

Называть его отцом я не могла, так как это слово, ассоциируясь с моим родителем, приобрело у нас в семье отрицательное звучание. Кроме того, мама однажды произнесла фразу, которую запомнили все... Указав на Павлушу, она сказала:

– Он не отец, он – мать!

Павлуша от растерянности стянул с носа очки: получалось, что он посягнул на мамину роль в моей жизни.

Не подходило к нему и холодное слово «отчим». Я стала называть его просто Павлушей. Это панибратство входило в некоторое противоречие с тем, что я обращалась к нему на «вы». Но все на свете с чем-нибудь входит в противоречие.

На «ты» я по необъяснимым причинам перейти не могла.

– Чувства благодарности не хватает, – с грустью сказала мама, жалея меня за эту «нехватку». – Отцовские гены!

Определяющими свойствами Павлуши были безотказность и обязательность, а главным маминым качеством была беззащитность. Слабость, я думаю, явилась той силой, которая и притянула к ней заботливого Павлушу.

Даже в натопленном помещении мама куталась в пуховый платок: ей всегда было холодно и немного не по себе. Она как бы давала Павлуше повод устремлять ей навстречу максимальное количество «внутреннего тепла». А то, что он представлял собой невиданный на земле источник такого тепла, мы с ней чувствовали в любую погоду.

Улыбка у мамы была до того женственной, что все вокруг начинали ощущать настоящую потребность в отважных мужских поступках. Она никого не осуждала, а лишь сожалела о людских несовершенствах, как, например, о папином эгоизме.

Голос у нее был мягкий, в телефонной трубке он растоплялся, как воск, и приходилось помногу раз переспрашивать ее об одном и том же.

Мама была искусной чертежницей. Но доска ее уже много лет находилась дома, возле окна, потому что Павлуша не любил, чтобы мама куда-нибудь отлучалась. Он не говорил об этом, он молча страдал. А мама дорожила его здоровьем и стала «надомницей».

Зная, что Павлуша молчаливо-ревнив, она в общественных местах усаживалась так, чтобы глаза ее по возможности не встречались с глазами посторонних мужчин. И в Доме художника она тоже села лицом к стене... В ответ на угодливые вопросы официанта мама кивала в сторону мужа: дескать, он знает. И он в самом деле безошибочно определял, что нам с ней хочется.

«Для дома, для семьи», – называли его мамы подруги. И всегда с безнадежным укором бросали взгляд на своих мужей.

Мама подчеркивала, что нельзя привыкать к добру, что надо неустанно ценить его, и тогда оно не иссякнет.

– Спасибо, Павлуша, – сказала я. – Еще раз спасибо.

– Нет, – возразил он, с наслаждением наблюдая, как мы едим, – подарок еще впереди!

Он любил, чтобы мы получали удовольствие от еды, от спектаклей, от фильмов.

– Уметь жить чужой радостью – самое редкое искусство, – уверяла мама. – Он им владеет.

Я соглашалась... Но так как мне в отличие от Павлуши нравилось жить своей собственной радостью, я, наполняя тарелку, спросила:

– А что еще... вы собрались мне подарить?

– Собственно говоря, это и не подарок, – ответил он. – Ты должна получить то, что тебе полагается.

– А что полагается?

– Отдых, – ответил он. – Обнаружилась горящая путевка! Ты едешь в «Березовый сок».

– Куда?

– Так называется санаторий. А вот и еще сюрприз!

К нашему столу приближалась немолодая блондинка... Прежде она, наверное, была стройной, но удержаться в этом состоянии не смогла. Было заметно также, что рестораны она посещала не часто: слишком уж независимой была ее походка, а грим на лице и прическа напомнили мне почему-то облицовку капитально отремонтированного дома. Павлуша, привычно вступив в конфликт со своей тяжеловесной фигурой, вскочил и подставил женщине стул.

– Ольга Борисовна, – объявил он. – Изумительный терапевт!

– Ну что вы?! – зарделась она, нарушая продуманный цвет лица и с любопытством оглядывая зал Дома художника. Я поняла, что завтра она будет рассказывать о нем в своей поликлинике.

– Ты, как я понимаю, Галя? – спросила женщина, чтобы сказать нечто, не относящееся к ресторану и еде.

– Галя, – ответила я.

– У тебя усталое лицо. Ты давно наблюдалась?

С этой минуты сладкий запах ее духов стал казаться мне запахом карболки: Ольга Борисовна погрузила наш стол в атмосферу врачебного кабинета.

– Простите, что опоздала, – сказала она.

– Я понимаю, – с глубоким сочувствием произнесла мама. – Прием больных, вызовы на дом!

Я, всегда отличавшаяся большой непосредственностью, спросила:

– А вы часто заражаетесь? Все время среди инфекций!

Мама зарылась в пуховый платок: ей стало не по себе. Но маминым здоровьем Ольга Борисовна не заинтересовалась. Она знала, что целью ее внимания должна быть я. И ответила:

– У нас вырабатывается иммунитет. А твой вид меня настораживает.

– В детстве ее не покидали ангины, – благодарно продолжая начатую Ольгой Борисовной тему, сказал Павлуша. – А от них кратчайшее расстояние до порока сердца.

– Это мы проверим, – деловито пообещала Ольга Борисовна.

И я подумала, что сейчас она полезет столовой ложкой мне в рот. Но она зачерпнула ею салат.

Оказалось, что «Березовый сок» – санаторий кардиологический, то есть «сердечный». А я, хоть от ангин до порока сердца всего один шаг, этого шага не сделала.

Раньше я знала, что карты бывают географические, игральные, топографические. Оказалось, есть еще и курортные.

На другую день Ольга Борисовна, освободившаяся от признаков капитального ремонта, сказала мне уже в настоящем врачебном кабинете:

– Все-таки бесследно эти ангины пройти не могли. Дай-ка я послушаю тебя... А потом заполним курортную карту!

Она стала прикасаться холодным металлическим кружком к моему телу. Я по ее команде то дышала, то прекращала дышать.

– Не старайся казаться тяжелоатлеткой, – попросил меня утром Павлуша. – На что-нибудь там... пожалуйся.

– Вы предлагаете мне симулировать? – с обычной непосредственностью спросила я.

– Он никогда не посоветует чего-либо дурного, – мягко напомнила мама.

– Положись на Ольгу Борисовну, – порекомендовал мне Павлуша.

И когда она сказала, что сердечные удары у меня «глуховаты», я подтвердила, что и сама

не раз слышала это.

Павлуша сопровождал меня до самого санатория. Он вел себя так, будто диагноз, написанный рукой Ольги Борисовны в моей курортной карте, полностью соответствовал действительности: не разрешал поднимать чемодан, уложил меня на нижнюю полку, а сам забрался на верхнюю.

– Ехать около шести часов. Ты спи: тебе необходим отдых, – свешивая с верхней полки свое массивное тело, заботливо произнес Павлуша. – И ни о чем не волнуйся: я тебя заранее разбужу.

Проводница сообщила, что на станции, где находится «Березовый сок», поезд стоит всего две минуты.

– Мы успеем. Я вынесу чемодан заранее, – успокоил Павлуша.

Он все делал вовремя или немного «заранее».

Я заснула.

Мне приснился сон, который навязчиво преследовал меня всю неделю: нужно было сдавать экзамены, которые были уже благополучно сданы. Я проснулась с сердцебиением, вполне подходящим для кардиологического санатория.

Павлуша тревожно наблюдал за мной с верхней полки:

– Что тебе такое приснилось? Ты стонала.

– Война, – ответила я. И снова заснула.

В санатории Павлуша сам отдал путевку и мой паспорт в регистратуру. Убедился, что меня поселят в комнату на двух человек, и, успокоенный, пошел обратно на станцию, чтобы пораньше вернуться в Москву:

– Мама ждет! Если получилось что-то не то, извини. Горящая путевка! Другой не было...

«Березовый сок» находился в пяти километрах от города, который называли областным центром. В этом городе я никогда не была.

– Из областного центра привезли лекарства, – слышала я. – Из областного центра привезли фильм...

По березовым аллеям, окружавшим санаторий, не спеша, предписанным медициной шагом прогуливались люди более чем зрелого возраста.

Встречаясь со мной, мужчины делали походку более уверенной и пружинистой. В санатории сразу произошло некоторое оживление.

– Болезнь вас, мужчин, не исправит, – услышала я за своей спиной укоряющий женский голос. – Нет, болезнь не исправит... Только могила!

– Не огорчайтесь так откровенно! – возразил ей игривый тенор, старавшийся звучать баритоном.

Меня посадили за стол к «послеинфарктникам»: там было свободное место.

– Мы с вами и в комнате вместе! – восторженно сообщила за обедом женщина лет сорока пяти, которая до моего приезда, вероятно, считалась в санатории самой юной.

Лицо у нее было худое, темные глаза воспаленно блестели. Она пыталась выдать свою болезненную лихорадочность за признаки оптимизма.

– Нина Игнатьевна! – представилась она. И пожала мне руку так, будто мы уходили в разведку. Рука у нее была сухой и горячей.

До столика добрался согбенный, седой старичок, опиравшийся на палку, как на последнюю надежду в своей жизни.

– Такая молодая?.. – сочувственно вздохнул он, увидев меня. – А вон и холостяк движется...

– Такая молодая! – провозгласил мужчина, сочетавший объемистую фигуру с молодецкой выправкой. Он был в спортивном костюме и накинутом на плечи махровом халате, а в руках, как нечто значительное, нес бутылку минеральной воды, обернутую салфеткой.

Мужчина по-гусарски сбросил халат на спинку стула, приблизил к себе приборы, и я увидела, что на ногтях у него маникюр. Приятный запах мужской аккуратности, деликатесного одеколона поборол запах диетических щей.

– Вы присланы к нам в качестве больной или эффективно действующего лекарства? –

поинтересовался тот, кого называли «холостяком».

– Онегинский тон... – пробурчал старичок, уткнувшись в тарелку. Он орудовал ложкой как-то по-крестьянски, словно она была деревянной. – А вы сразу будьте великосветской Татьяной, – порекомендовал он мне. – Потому что юную Ларину Геннадий Семенович задавит величием и нотациями. – Он оторвал глаза от щей и поднял на «холостяка». – Так?

– Минуя Ларину, в Гренины не проскочишь, – возразил Геннадий Семенович. А мне посоветовал: – И не старайтесь!

Все называли меня на «вы». В этом, как и в моем обращении к Павлуше, была неестественность.

– Атака продолжается? Век нынешний наступает на век минувший! – Обратившись ко мне, Геннадий Семенович Пояснил: – Профессор Печонкин, известный специалист в области кибернетики, понимает, что я со своими лекциями в классической музыке могу лишь поднять руки вверх.

Облокотившись о стол, он скорее развел в стороны, чем поднял, холёные руки, в меру покрытые растительностью, с отлакированными ногтями.

– За ними надо записывать! – восторженно заявила Нина Игнатьевна. – Диспут профессоров!..

– Не удивляйтесь, – сказал Геннадий Семенович, поглощавший щи как-то незаметно, будто он и не ел. – Нина Игнатьевна – директор лучшего в городе Дворца культуры. Так что диспуты – это ее стихия.

– Я работаю в клубе, – не меняя восторженного выражения лица, возразила она.

– Лучше называть дворец клубом, чем клуб дворцом. Так? – хрипловато поддержал Нину Игнатьевну профессор Печонкин.

Желая объединить наш стол в дружеский коллектив, Нина Игнатьевна сообщила, что Геннадий Семенович и Петр Петрович дали согласие выступить у нее в клубе.

– Через полмесяца будет годовщина освобождения нашего города от фашистских захватчиков. – сказала она. – В этот день Геннадий Семенович выступит с лекцией «Музыка Великой Отечественной». И сам будет иллюстрировать... на рояле.

– Уже кончился срок вашей путевки? – спросила я у нее с сожалением, потому что быстро привыкала к людям.

– Нина Игнатьевна лечится без отрыва от производства, – ответил Геннадий Семенович. Он накапал в рюмку из пузырька желтоватое лекарство. Шевеля губами, взял на учет каждую каплю, потом смешал лекарство с минеральной водой. И выпил.

– Геннадий Семенович будет первопроходцем. Так? – сказал профессор Печонкин. – А уж я отправлюсь по проложенной им дороге.

– Петр Петрович расскажет о последних открытиях в кибернетике! – пояснила Нина Игнатьевна.

Фразы она произносила с таким подъемом, и глаза ее при этом так лихорадочно блестели, словно она устремлялась на штурм неприступной крепости.

Наша комната расположилась на третьем этаже. Две кровати, тумбочки между ними, два стула, шкаф, умывальник... И чистота. Я ощутила себя в родной обстановке: маму называли «уютной женщиной» – и она доводила чистоту до стерильности, будто жила в операционной. Гости сами, не дожидаясь намеков, снимали в коридоре туфли, ботинки, надевали тапочки, а если их не хватало, шлепали по комнате в чулках и носках.

Ствол березы как бы разделял окно комнатки ровно на две половины. Кто-то, отдыхавший раньше, дотянулся до ствола и вырезал на нем: «Феоктистов».

– Сердца собственного не пожалел, – сказала Нина Игнатьевна. – Представляете, какое выдержал напряжение! Тщеславие человеческое надо всегда учитывать. Я по своему клубу знаю. Попробуй-ка не так представь со сцены артиста: звание его перепутай, забудь титул! Бывает, лишаются голоса: аккомпанемент звучит, а арии нет. Я за этим очень слежу! Зачем обижать людей? Раз им хочется...

– У вас был инфаркт? – спросила я.

– Думаю, что электрокардиограммы преувеличили. Но надо им подчиняться. Профессор

Печонкин утверждает: ошибаются те, у кого есть сердце и разум. Из-за них-то и возникают варианты, разночтения. А машина ошибаться не может. Тут она беспощадней людей. Не умней, говорит, а беспощадней... Крупнейший ученый!

– И Геннадий Семенович тоже «крупнейший»?

– В своей области. Я слышала в Москве его лекцию «Музыка, музыка, музыка...». Часа два со сцены не отпускали! Он у нас в клубе выступит. В день освобождения города от фашистских захватчиков! Для ветеранов... Это будет событие. Я уже все продумала: ветераны прямо из зала называют любимые музыкальные произведения военной поры, а он рассказывает историю их создания... И иллюстрирует на рояле! – Она вновь пошла на штурм крепости: – Этот санаторий – главная, если так можно сказать, интеллектуальная база моего клуба. Тут лечатся знаменитые деятели науки, культуры! Я их всех через свой клуб пропускаю.

– Врачи не сердятся?

– Наоборот, одобряют! Чтобы восстановить здоровье, и капли, с помощью которых намеревался «спасти» мое сердце.

Но так как спастись мне было не от чего, я однажды сказала:

– Это, наверно, для вашего возраста? Геннадий Семенович не растерялся.

– Даже «Кармен» и «Травиата» были оценены не сразу. Я тоже не рассчитываю на молниеносный успех. Правда, Верди и Визе не были ограничены сроками санаторной путевки.

У Гриши перед Геннадием Семеновичем имелись явные преимущества: он не должен был отлучаться на процедуры. Сопровождая меня, он не останавливался то и дело, чтобы определить пульс, и не возвращался в санаторий, чтобы проверять кровяное давление. Поскольку с давлением и пульсом у шестиклассника все было в порядке, он не отклонялся от своего «главного увлечения». А главным увлечением Геннадия Семеновича являлся все же он сам.

Так уверял профессор Печонкин... И я начинала с ним соглашаться. Но Нина Игнатьевна воспротивилась.

– Желать себе выздоровления – это не порок. Это естественно! Драматичность инфарктов именно в том, что после них надо к себе прислушиваться. Контролировать свое состояние! И хоть у Геннадия Семеновича был микроинфаркт, его обвинять нельзя.

– Вы пойдете на его лекцию?.. – спросил меня Гриша.

– Конечно! Это ведь будет праздник: день освобождения твоего города, – ответила я.

– Он его не освобождал, – ответил мальчик. Опустил голову и пошел ужинать.

Нина Игнатьевна была опечалена внезапно вспыхнувшей страстью сына:

– Я знала, что они влюбляются в учительниц...

– И в отдыхающих тоже! – успокоила я.

– Мы с вами не должны обнаруживать, что догадались, – взмолилась она. – Гриша очень раним!

Увидев как-то очередной букет полевых цветов у Гриши в руках, она сказала:

– Он любит дарить цветы. Всегда после концерта или лекции в моем клубе поднимается на сцену и преподносит...

– Тут не сцена! – ответил Гриша. И убежал.

Я, таким образом, покорила всех: от шестиклассника до профессоров, уже получивших инфаркт. Это было триумфальное шествие.

– Хоть выписывайся из санатория! – сказала Нина Игнатьевна. – Я поручу Грише готовиться к лекции Геннадия Семеновича. К нашему празднику... Пусть собирает фотографии, разносит по домам ветеранов пригласительные билеты. Так он немного отвлечется.

Гриша стал будить ветеранов ни свет ни заря и уже к завтраку прибегал в санаторий.

– Печорин и Грушницкий решили похожую проблему кардинальным путем, – сказал Геннадию Семеновичу за обедом профессор Печонкин.

Гриша еще не читал «Героя нашего времени» – и рассмеялся: быть может, фамилия Грушницкий показалась ему необычной.

– Я очень надеюсь, что ваших внуков и правнуков воспитывают другие члены семьи, –

утратив свое вальяжное добродушие, ответил Геннадий Семенович.

Нине Игнатьевне этот диалог был неприятен. И она, взяв Гришу за руку, увела его, оставив без третьего блюда.

– Первые дни вашего санаторного бытия, наверно, кажутся вечностью? – спросил меня Геннадий Семенович.

– Как вы это почувствовали?

– В детстве каждый день и каждый год тоже кажутся бесконечными, – пояснил он. – Потому что в этом возрасте – вавилонское столпотворение впечатлений. Все незнакомо: события, люди. А потом в мои годы от одной встречи Нового года до следующей вот такое расстояние... – Он указал на отлакированный ноготь. – Привычность происходящего убыстряет бег времени. Только новизна и неожиданность фактов создают впечатление протяженности. Так и в санатории: первые дни – это детское восприятие, а последующие... Мой поезд уже мчался с бешеной скоростью, а я даже в окно не поглядывал: все пейзажи были известны заранее. И вдруг... вы! Кажется, я продлю путевку «по состоянию здоровья».

– А что у вас... теперь?

– Сердце! – перемешивая иронию с глубокой проникновенностью, ответил он.

Ирония неожиданно сближала его с мальчишками моего далекого четвертого класса, которые, скрывая чувства, толкали меня в спину на переменке. А проникновенность отдаляла от них.

Геннадий Семенович всегда нарочито подчеркивал возрастной разрыв, существовавший между нами. Этим он объяснял и повышенное внимание к своему пульсу, поглощение капель и пилюль в таком количестве, что я поражалась, как он не путал все свои многочисленные коробки, баночки и пузырьки.

«Сейчас, когда мне уже сто лет», – говорила одна пожилая и некогда обворожительная мамина подруга. «Когда уже сто лет»... Такое саморазоблачение, отчаянная гипербола молодила ее в глазах окружающих. Геннадий Семенович действовал тем же способом.

Если ему удавалось остаться со мной наедине, а это случалось после вечерних киносеансов, когда Гриша был уже в городе, рядом возникала Нина Игнатьевна.

– Мне кажется, она хочет сберечь вас для своего сына, – сказал Геннадий Семенович. – Но ведь и тут будет резкое возрастное несоответствие!

Он не смог отыскать ни одного случая в биографиях знаменитостей, когда бы женщины увлекались молокососами, но любовь юной девушки к семидесятипятилетнему Гете неотлучно была у него на памяти. Быть может, по причине этой запоздалой страсти Иоганн Вольфганг Гете и стал его самым любимым «философом от литературы».

– Вам должен быть ближе образец музыкальный, – заметила я. – Опера «Мазепа», к примеру...

– Одна из главных идей этого совместного творения двух гениев, – строго объяснил мне Геннадий Семенович, – состоит в том, что мы слишком часто верим Мазепам, а не Кочубеям. Большая и горькая истина! Разве я похож на предателя?

– Вам с ним интересно? – с тревогой спросила меня, укладываясь спать, Нина Игнатьевна.

– Интересно, – ответила я.

– Это самое страшное! У молодости есть качества, которых лишены «послеинфарктники», но у них, поверьте, есть достоинства, которых лишена молодость. И эти достоинства иногда берут верх. Вы не должны поддаваться! Так бы, я уверена, сказала и ваша мать. Но ее здесь нет, и поэтому я...

Она вновь устремилась на штурм.

Через несколько дней Геннадий Семенович предложил мне утреннюю прогулку, воспользовавшись тем, что Гриша еще не примчался из города. Было время процедур, но Геннадий Семенович решил от одной из них отказаться.

Ситуация, по убеждению Нины Игнатьевны, приобретала катастрофический характер.

– Галя, вас просили зайти в кабинет к врачу, – сказала она.

– Врач принимает до тринадцати тридцати, – ответил Геннадий Семенович, увлекая меня в березовую аллею.

– Есть только одна опера в истории музыки, – сказал он, – которая, на мой взгляд,

преодолела условность оперного жанра. Это «Пиковая дама». Вы согласны? Мы воспринимаем трагедию Лизы и Германа как абсолютно реалистическую.

– Галочка! – раздался вдруг за спиной срывающийся от бега голос Нины Игнатьевны. – К вам приехали! Совсем молодой человек. Высокий... Хотя немного седой.

– Павлуша?! – изумленно воскликнула я: от Москвы до нашего санатория было около шести часов езды на поезде. – Что-то случилось!

– Кто это... Павлуша? – застыв на мгновение, спросил Геннадий Семенович.

– Муж моей мамы.

«Он покорила всех!» – как бы жалея Павлушу, часто сообщала о нем мама.

Вообще-то покорителей и победителей не жалеют. Их, как известно, даже не судят. Но Павлуша очаровывал окружающих заботами о «женской половине» нашей семьи, забывая о себе самом, и мама ему сочувствовала.

Забывать о себе – это было Павлушиным талантом, призванием.

Он и в «Березовом соке» всех поголовно очаровал... Сначала он сделал это заочно: своими ежедневными междугородными звонками. По времени они, как правило, совпадали с наиболее захватывающими местами кинокартин, которые нам показывали почти каждый вечер. В дверях, разжижая темноту зала, появлялась дежурная и объявляла:

– Андросову к телефону!

Я наконец объяснила Павлуше, что он звонит слишком поздно. И он стал вызывать меня из столовой во время ужина – так что все равно санаторий был в курсе дела.

– Скучают? – напряженно поинтересовался Геннадий Семенович.

– Это муж моей мамы, – ответила я. А потом объяснила это и остальным. Многозначительные ухмылки сменились восторгом:

– Родной отец так не будет!..

«Родной не будет», – подумала я о своем отце.

Дня за три до приезда в «Березовый сок» Павлуша, словно между прочим – преподносит сюрпризы тоже было его признанием! – выяснил по телефону, с кем я сижу за столом. Поинтересовался характерами, склонностями этих людей и кто из них в чем нуждается.

Нине Игнатьевне он вручил тяжелый альбом репродукций знаменитых картин, поскольку она, как выразился Павлуша, занималась «просветительской деятельностью». Профессору Печонкину достался футляр для очков: он плохо видел и надеялся главным образом на свою палку. Футляр был до такой степени оригинален, что его жалко было прятать в карман.

– Если бы можно было надеть его на нос! – посетовал профессор Печонкин.

Но более всего Павлуша угодил музыковеду-холостяку: он достал лекарство, которое врач Геннадию Семеновичу прописал, но добавил при этом:

– Если только из-под земли...

И даже возраст моего юного поклонника Гриши был учтен: он получил новый том детектива. От книги исходил клеевой и коленкорový запах, который всегда ассоциировался у меня с великой литературой.

– Жаль, что вы... на один только день! – в приступе благодарности пошла на штурм Нина Игнатьевна. – Я бы попросила вас выступить у нас в клубе!

– Кому я, начальник планового отдела, нужен?

– Как раз обсуждение вопросов планирования у нас в плане! Вы так внимательны...

Конечно, о тех, кто ел за соседними столиками, Павлуша не беспокоился. Он интересовался теми, кто сидел рядом со мной. Ему важно было, чтобы ко мне хорошо относились. «Для дома, для семьи»... Таков был девиз Павлушиной жизни.

Будто желая опровергнуть это мое убеждение, Павлуша рассказал, что он «из-под земли» добывает путевку в «Березовый сок» и своему заместителю.

– Сейчас я вижу, что ему необходимо сюда приехать. Только сюда!

– Как здоровье Алексея Митрофановича? Стыдно... Даже забыла спросить.

– Это я заморочил! Ты бы непременно спросила! Я достану путевку, – как бы вымаливая прощение, пообещал мне Павлуша. Потому что все добрые дела он совершал с виноватым видом. Он и подарки в «Березовом соке» вручал столь застенчиво, что мне его было жаль.

– Муж вашей мамы... всегда так щедр? – поинтересовался после Павлушиного отъезда Геннадий Семенович.

– Вам это трудно понять, – отрываясь от рубленого бифштекса, пробурчал профессор Печонкин. – Вы-то, холостяки, больше ста граммов сыра не покупаете. Жизнь для себя! Даже ягоды здесь, в санатории, покупаете «на одного». Так?

Я подумала: «Как, интересно, это любимое профессором и резкое, словно укол тока, словечко „так?“ действует на студентов во время экзаменов?»

Мама называла Павлушиного заместителя по фамилии. «Тебе Корягин звонил», – говорила она сочувственно: опять министерство, опять дела!

Сам Павлуша называл его Митрофанычем, я – по имени и отчеству, а жена Корягина, Анна Васильевна, звала мужа «кормильцем».

У них было четверо детей.

– Четверо! – ужасалась мама, жалостливо поглядывая на Павлушу, будто речь шла о его многодетности.

– В нашей деревне меньше четырех ни у кого не было! – оправдывался Алексей Митрофанович.

Он и в городе продолжал жить по сельским законам.

– Чай пьет только вприкуску. Хрустит на всю комнату, – кутаясь в платок, изумлялась мама. – Живет в цивилизованной отдельной квартире – и каждую неделю отправляется в баню. Простую, районную... С веником!

Мама пряталась в свой платок и при виде самодельной мебели корягинского производства, и при виде сельских пейзажей Алексея Митрофановича в простых, им же обструганных рамах.

Как бы от имени всей нашей семьи Павлуша каждый раз внимательно изучал пейзажи своего заместителя, то приближаясь, то отходя от них.

– Все сам! Своими руками... – восторгался Павлуша, усаживаясь с нами на длинную лавку, заменяющую стулья и всех сразу объединяющую. – Я бы в жизни не смог!

– Приходится, – объясняла Анна Васильевна. – Я-то не зарабатываю. А их четверо! Все на нем, на кормильце, держится.

В ее словах звучали и благодарность кормильцу, и преклонение перед ним.

Мне казалось, что Анна Васильевна с утра до вечера не переставая стирала: выше локтя закатанные рукава, передник, распаренное лицо, стыдившееся своего цвета. Взгляд был такой, будто ее всегда заставляли врасплох, а не являлись по приглашению.

Анне Васильевне было на этом свете явно не до себя. А обрати она на себя внимание, может, и другие бы обратили. Каждый раз меня уверяли в этом ее круглые, как на старинных картинах, удивленно испуганные глаза.

Мы садились за стол, разговаривали, ели... А она все время прибежала и убежала, на ходу утираясь краем передника.

– Я к ним не в гости хожу, а на экскурсию: картины деревенского быта! – сказала, я помню, мама.

– Верность детству и местам, где родился, – это признак душевности, чистоты, – заступился Павлуша. – Я что-то не то сказал?

Мама сочувственно взглянула на него: всех ты стремишься понять!

– У нас полная средняя школа на дому. Что ты поделаешь! – говорил Алексей Митрофанович.

Старший его сын перешел в десятый класс, а младший поступал в первый. Между ними умудрились протиснуться две дочери.

Все дети были до того похожи на отца, что Анна Васильевна любила шутить:

– Рождены без участия матери.

Алексей Митрофанович сразу принимался отыскивать у своего потомства материнские черты. Но их не было.

– Похожи на меня... Что ты поделаешь! – соглашался он. – Но улучшенный вариант! Как это говорится, в «экспортном исполнении».

И правда, дети, похожие на отца, были в отличие от него красивы. В этом, наверное, и проявился вклад Анны Васильевны. Как мастер слова, прополов фразу, из неуклюжей делает ее волшебной, так и она, что-то смягчив, разгладив, добилась «улучшенного варианта».

Приземистый Алексей Митрофанович ходил косолапо, а дети были стройны и изящны.

– Акселерация! – объяснял Корягин.

Ему нравилось это экстравагантное слово и то, что дети были изящными.

Я видела, как Алексей Митрофанович разогревал им суп, кипятил чай. Только младший сын Митя просил:

– Можно, я зажгу газ?

– Хочешь помочь отцу? – непедagogично восхищался Корягин. – Ну зажги.

Помню, Алексей Митрофанович долго клеивал раму, вставил в нее, как в окно, очередной свой пейзаж, а потом взялся за молоток.

– Можно мне забить гвоздь? – попросил Митя.

– Хочешь помочь? Ну забей.

Ударить молотком по гвоздю Митя успел лишь раз: из-за двери смежной комнаты послышались два голоса, слившиеся в один раздраженный крик: «Да прекратите вы!»

– Не буду, не буду... Что ты поделаешь! – извинился себе под нос Алексей Митрофанович.

И тут я впервые увидела, как Анна Васильевна сердится. Ее круглые глаза стали длинными, утратили свой испуг. Дверь смежной комнаты не раскрылась, а распахнулась, стукнувшись ручкой о стену.

– Вам мешают?! Хорошо капризничать... за спиной у отца!

– Успокойся, Аннушка. Они же уроки делают! – Он повернулся ко мне: – Ты-то знаешь, сколько теперь задают!..

Младшие члены семьи притихли. Только Митя приподнялся на носках и прижался к отцу.

Я часто навещала Корягиных: Алексей Митрофанович помогал мне решать математические задачи, овладевать физикой. Павлуша справиться с этим не мог и отправлял меня к своему заместителю.

– Наука теперь далеко ушла, – каждый раз предупреждал Алексей Митрофанович. – Что ты поделаешь!

Корягин, однако, ее догонял... По крайней мере, ту науку, которая была в моих школьных учебниках.

Он был самородком. И подобно самородкам, извлекаемым из земных или горных пород, был небольшим, неотшлифованным, но бесценным.

Я сказала об этом Павлуше. Он согласился:

– Митрофаныч – это клад. Все на свете умеет.

Я подумала, что неплохо иметь заместителя, который умеет больше тебя самого... Стебель и корни незаметней цветка, но что он без них?

– Плановому отделу без Митрофаныча просто конец, – угадал мои мысли Павлуша. Мама стала прятаться в свой платок.

– Я что-то не то сказал?

Вскоре всем нам, к несчастью, пришлось убедиться, что Павлуша сказал «то», что он сказал правду.

– Корягин надорвался... Ему стало плохо, и прямо с работы его увезли в больницу.

Плохо стало и плановому отделу.

– Выяснилось, что формула «незаменимых нет»... цинична и неверна, – сказал нам Павлуша. – Единственная надежда, что он скоро вернется: все-таки здоровый организм. Деревенский!

Я тут же собралась навестить Корягина.

– К нему не пускают: карантин, – сказал мне Павлуша.

Я не стала пробиваться сквозь больничные правила и запреты. Тем более что начались выпускные экзамены, а потом экзамены в университет. Павлуша носил передачи в больницу, а вернувшись, сообщал, что все идет «на поправку».

– Просто устал он. Переоценил человеческие возможности.

Несколько раз я забегала к Корягиным домой. Анны Васильевны не было: она переселилась в больницу. Никакой карантин удержать ее не сумел... Дети, как заблудившиеся, ходили по комнатам. Сами разогревали чай, накрывали на стол. Предлагали мне ужинать.

– Папа с мамой скоро вернутся, – пообещал Митя. Присел на корточки и заплакал.

Накануне моего окончательного триумфа в университете Алексей Митрофанович и правда вернулся домой. Я позвонила ему.

– Ложная тревога, – сказал он. – Ложная, а всех напугала. Что ты поделаешь!

Я переводила глаза с Геннадия Семеновича, величественно глотавшего привезенные Павлушей пилюли, на профессора Печонкина, который целеустремленно уничтожал свой гарнир. Мне было радостно, что никто не мог обвинить Павлушу в холостяцком эгоизме. Никто не мог сказать, что он ведет «жизнь на одного» или «жизнь на двоих», то есть лишь ради меня и мамы. О том, что он не живет ради себя, я знала давно. Но мне прежде казалось, что он вполне утолял голод, наблюдая, как мы с мамой закусываем, и что организм его насыщался кислородом, если мы с ней совершали прогулки. Я ликовала оттого, что в заботах и привязанностях Павлуша не расплылся.

«Приписывала ему свой эгоизм! – думала я, проводив Павлушу из санатория. – Как часто мы смотрим на людей сквозь искажающие стекла собственных недостатков. Зрение наше от этого так ухудшается, что даже близких мы не в состоянии разглядеть... Я знала лишь о тех кладах Павлушиной доброты, которые лежали на самой поверхности. А ее, оказывается, хватало и на других людей, не прописанных в нашей квартире. Вот убедился, что в „Березовом соке“ лечат и кормят как надо, и решил достать путевку Корягину. А может, он и подарки привез, вовсе не желая, чтобы за них расплачивались внимательным отношением ко мне? Просто привез – и все. Для людей... Зачем так сложно объяснять естественные человеческие поступки?»

Мне дороги Алексей Митрофанович и Анна Васильевна, – продолжала размышлять я. – И сквозь добро, предназначенное для них, я наконец сумела увидеть Павлушины качества, которых раньше не знала и не ценила».

Все эти мысли и психологические открытия так мне понравились, что я согласилась пройтись после ужина с Геннадием Семеновичем: а если и к нему я была не вполне справедлива?

Шестиклассник Гриша заметался между ревностью и желанием посмотреть новый фильм. Любовь к кинематографу победила, и мы отправились по аллее вдвоем.

– Мне смешно... – Геннадий Семенович по-мефистофельски захохотал. – Мне смешно, когда иные искусствоведы пытаются пересказывать содержание, так сказать, сюжет инструментальных произведений: «Симфония повествует о...», «Пьеса для скрипки и фортепиано рассказывает...» Ну и так далее! Ставят знак равенства между музыкальной пьесой и пьесой, идущей на сцене. А ведь музыка должна прежде всего создавать настроение, влиять на эмоции. В этом смысле она гораздо ближе к стихам, чем к прозе. Попробуйте-ка пересказать содержание самого гениального лирического стихотворения «Я вас любил, любовь еще, быть может...». Вот что получится: «Я вас любил и, вероятно, еще не остыл окончательно. Я робел, мучился ревностью... И пусть другой вас любит, как я!» Чепуха, да? Все дело в волшебной расстановке слов! «Я вас любил...»

Чем-дальше мы углублялись в аллею, тем настойчивей Геннадий Семенович касался лирических тем.

– Благодаря мужу вашей мамы, – он потряс в воздухе пузырьком с пилюлями, – я окончательно воскрес «для слез, для жизни, для любви».

Цитаты освобождали его от необходимости подыскивать слова, напрягаться: он был «на отдыхе» и свято выполнял врачебные предписания.

– Превыше всего простота! – уверял меня Геннадий Семенович. – Не та, которая хуже воровства, а та, к которой приходишь через сложность. Я не знаю ни одного великого творца, произведения которого были бы непонятны. Непонятностью иные заменяют талант. А у Пушкина, вспомните: «Пора пришла, она влюбилась...» Два подлежащих и два сказуемых.

Всего-навсего! Но нам становится ясно, что от любви невозможно уйти, как от смены времен года или от другого чередования: за утром – день, за ним – вечер. И от этого никуда не денешься! «Пора пришла, она влюбилась...»

Было похоже, что Геннадий Семенович готовился к лекции. Но я с ним соглашалась. Мне было интересно.

«Когда становится интересно, мы делаем первый шаг навстречу поражению, – объясняла мне подруга в Москве. – Этому надо сопротивляться!» Нечто похожее утверждала и Нина Игнатьевна.

– Удивительное создание! – сказал о ней Геннадий Семенович. – Из таких, как она, в чрезвычайных обстоятельствах рождаются Жанны д'Арк и Раймонды Дьен. Именно она, можете мне поверить, «коня на скаку остановит, в горящую избу войдет».

– Она войдет, – подтвердила я.

– Вообще же насчет женщин у меня есть своя теория, – приглушив голос, поделился со мной Геннадий Семенович. – Их душевные качества проявляются ярче, обостреннее, чем у нас. Поэтому благородная женщина благородней благородного мужчины, но скверная хуже скверного мужчины. Страшнее!

Он поежился, словно от какого-то воспоминания.

– Вы обжигались? – спросила я. И почувствовала, что за нарочитой иронией спрятались угрожающие признаки ревности.

Я знала, что своими лекциями с музыкальным сопровождением Геннадий Семенович завораживал целые залы. Мне ли было устоять перед ним!

– Я хочу завтра сделать упор на Седьмой симфонии Шостаковича, – снова поделился со мной Геннадий Семенович. – Она создана, как известно, в блокаде: голод, холод, замерзшие трубы. Когда мы чем-нибудь недовольны, надо вспоминать о том, что вынесли люди, и станет легче. Седьмая симфония будет эпиграфом к моей лекции. Хотите, я расскажу о подробностях ее рождения?

Мне становилось все интереснее.

Он замер, взяв запястье своей левой руки пальцами правой.

– Держать руку на пульсе истории – это необходимо! – оправдываясь, сострил он. И взглянул на меня, как мог бы взглянуть Иоганн Вольфганг Гете: дескать, да, возрастная разница существует, но в данном случае это не помеха, а лишь еще одно мужское достоинство. – Пульс истории... Кстати, я ни разу не держал руку на вашем пульсе. Разрешите-ка...

Я разрешила.

В этот момент раздался голос Нины Игнатьевны:

– Да где же вы?! Ах вот? Простите, я хотела напомнить вам, Геннадий Семенович, что как раз завтра годовщина освобождения нашего города от фашистских захватчиков. И ваше выступление в клубе! Будут все ветераны... А сейчас, Галочка, идет потрясающая картина!

Картина действительно была потрясающей: Геннадий Семенович держал руку на моем пульсе, а Нина Игнатьевна с изумлением на это взирала. То, что ее взгляд был тоже на моем запястье, я видела и в полутьме.

Что касается Геннадия Семеновича, то он испепелял «удивительное создание» ненавидящими глазами. Они тоже были сильней темноты.

– После фильма мы с Гришей уйдем в город: должна подготовиться к завтрашнему дню, – продолжала объяснять свое появление Нина Игнатьевна. – Гриша преподнесет вам, Геннадий Семенович, цветы!

Так как среди «послеинфарктников» было много деятелей науки и культуры, без которых не мог обойтись ее клуб, Нина Игнатьевна намного сокращала срок своего отдыха и лечения. Я поняла, что не только искусство, но и любой благородный фанатизм требует жертв.

– Ничто не возвращает ветеранов в минувшие годы с такой эмоциональной силой, как музыка, песни! – собираясь в город, говорила Нина Игнатьевна. – Я могу, Геннадий Семенович, прислать за вами машину. Заказать такси... Если надо, пожалуйста! – с лихорадочным блеском в глазах продолжала она.

– Зачем же такси? Мы с Галей после ужина совершим променады. Медленным шагом...

Вы не оставите меня в одиночестве?

– Не оставляю, – сказала я.

Я была уверена, что в моем присутствии он будет выбиваться из сил, чтобы покорить зрителей и меня.

– Давай еще кого-нибудь пригласим! – попросил Нину Игнатьевну Гриша, не желавший, чтобы медленным шагом мы с Геннадием Семеновичем шли вдвоем.

– Это мой вечер. И приглашаю на него я, – не глядя в Гришину сторону, возразил Геннадий Семенович.

– Зачем ты вмешиваешься? – одернула сына Нина Игнатьевна. – Ветераны послушают вас... споют. Сколько на это уйдет времени?

– Творчество трудно запрограммировать, – со снисходительным, вальяжным сарказмом ответил Геннадий Семенович. – Как уж я там разболтаюсь!

– А вот Достоевский иногда точно определял, к какому числу он закончит произведение, – проявляя не столько эрудицию, сколько свою обычную бесцеремонность, встряла я в разговор.

– «Его пример – другим наука!» – прикрылся цитатой Геннадий Семенович. – Следуя Федору Михайловичу, будем рассчитывать на полтора часа.

– Значит, ужин вам подадут на час раньше. Я договорилась!.. – пошла на приступ Нина Игнатьевна. – Четверти часа вам хватит?

– Хватит, – ответила я, хотя знала, что Геннадий Семенович за столом не торопится, так как врачи сказали, что это наносит жестокий удар по пищеварению.

– Отсюда до нашего клуба – час пятнадцать. Как раз медленным шагом! Начнем прямо в девятнадцать часов тридцать минут. А уже в двадцать один ветераны пойдут домой!. Чтобы успеть к праздничному столу... День освобождения города от фашистских захватчиков они отмечают торжественно. Поэтому я и рассчитываю по минутам! Обойдемся на этот раз без концерта: ваше выступление – это и литературный вечер, и научная лекция, и концерт.

– Не предупреждайте заранее, что в комнату войдет красивая женщина, если не хотите добиться эффекта разочарования, – посоветовал Геннадий Семенович. – Это известно, но истина не бывает банальной!

Назавтра позвонил Павлуша. Он просил поздравить Нину Игнатьевну и Гришу с годовщиной освобождения их города. Сказал, что с утра, как шахтер или строитель метро, начинает подземную работу, чтобы оттуда, «из-под земли», добыть путевку Корягину.

– Простите меня, – попросила я в телефонную трубку.

– За что?

– Знаю за что! – ответила я. И вновь со стыдом призналась себе, что столько лет взирала на Павлушу сквозь искажавшие его облик очки.

Ровно в шесть часов вечера я спустилась в столовую.

Ужин дисциплинированно ждал нас на столе. Прошло десять минут... Геннадий Семенович не появлялся.

Тогда я помчалась к лифту. Бегущий человек воспринимался в кардиологическом «Березовом соке», как мог бы восприниматься в толпе марафонских бегунов человек, присевший на землю.

Подбегая к комнате на четвертом этаже, я заметила, что стрелки ромбовидных электрических часов в коридоре показывали уже пятнадцать минут седьмого.

От волнения я открыла дверь, не постучавшись. В комнате пахло смесью деликатесного одеколona, мужской аккуратности и многочисленных исцеляющих средств, на которые Геннадий Семенович всегда взирал не менее влюбленно, чем на меня.

Хозяин комнаты царственно полулежал на диване, на котором не вполне умещался. Все было исполнено страдальческого величия. Лицо было мрачным, почти обреченным.

Дежурная медсестра только что сделала Геннадию Семеновичу укол. Поскольку мое появление в такой момент не смутило его, я поняла, что он до крайности перепуган.

Выходя из комнаты с металлической посудинной, в которой лежал шприц, сестра шепнула:

– Легкие перебои... Ничего угрожающего. Может подняться!

Я облегченно вздохнула:

– Ну, идем! – И указала на свои ручные часы.

– Куда? – прошептал Геннадий Семенович.

– Как... куда? В клуб. К ветеранам! Он взглянул на меня со снисходительной жалостью, как на душевнобольную:

– О чем вы говорите? Какой клуб? У меня по спине, как во время экзаменов, что-то начало передвигаться.

– Геннадий Семенович, возьмите себя в руки! Он взял в правую руку запястье левой руки и стал шевелить губами.

– Опять перебои. Продолжаются.

О клубе и ветеранах он не помнил вообще. Я решила пробиться к его памяти:

– Сегодня годовщина освобождения города! Это очень большой праздник для всех жителей. Уже мало осталось тех, кто сражался... Они старые и больные люди! С трудом придут, а вас нет... Это невозможно, Геннадий Семенович!

Он не слышал меня, ибо прислушивался к себе. Для него важны были только те процессы, которые происходили внутри его организма.

– Станный вы человек! – выкрикнула я, не находя слов, которые бы могли подействовать на него.

– Я странен? А не странен кто ж? – Геннадий Семенович прикрылся цитатой, как это часто бывало в невыгодные для него моменты.

– Вы хотели, чтобы я пошла с вами? – пришлось мне воспользоваться последним шансом. – Вы хотели? И я иду!

Геннадию Семеновичу было не до романтики. Я знала, что у людей, сильных духом, в минуты опасности обостряются лучшие качества. У слабых же наоборот, обнажается то, что они скрывают от окружающих, чего сами стыдятся. Все у них происходит как у неопытных шоферов, попавших в аварийные обстоятельства: не в ту сторону крутят руль, не в то мгновение нажимают на тормоза.

– Мы пойдем с вами... вдвоем! – вновь понадеялась я на его сердце.

Но оно было способно лишь совершать перебои и сжиматься от страха.

У меня была привычка, которую мама, сочувственно вздыхая, называла дурной: в минуты волнения я принималась рвать бумажки, которые попадались мне под руку, – и вскоре оказывалась в окружении мусора. Я и тут начала превращать в мелкие клочки бумажную салфетку и меню, лежавшие на столе.

Он не обратил на это внимания.

– Вы не Гете! – впадая в свою обычную прямолинейность, воскликнула я.

– Нет, вы не Гете! И не Дмитрий Дмитриевич Шостакович!..

Он приподнялся с диванной подушки, как со смертного одра, и похлопал себя по груди:

– Этот насос, давая перебои, на миг останавливается... Я чувствую, как он замирает. Сердечная недостаточность! Если бы вы хоть раз ощутили это, вы бы не осуждали. В вашем возрасте и я тоже...

Я поняла, что если он в таком смысле решил апеллировать к возрасту, значит, все мои доводы и чары бессильны.

И все же я продолжала:

– «Травиата», «Кармен»... «В горящую избу войдет...» А вы сейчас поджигаете избу. Поджигаете! «Простота превыше всего!» Человечность превыше всего... Запомните! «Холод, голод, замерзшие трубы...» Перечислять чужие несчастья – не значит сострадать им, а произносить возвышенные слова – не значит им следовать. Спасибо за урок!

Я вообразила себе: к зданию клуба с разных сторон, преодолевая годы, опираясь на палки, подобно профессору Печонкину, сходятся ветераны, чтобы вспомнить минувшие дня и послушать музыку Великой Отечественной. Еще они представлялись мне похожими на Алексея Митрофановича Корягина: спасители и кормильцы.

Нина Игнатьевна, встречая их, будет лихорадочно выбегать на улицу: не показался ли Геннадий Семенович? И сердце ее, тоже не очень здоровое, начнет давать перебои. По спине у меня, как на экзаменах, вновь стало что-то передвигаться.

Вспомнив о профессоре Печонкине, я выбежала в коридор. Ромбовидные электрические

часы показывали уже половину седьмого. Для ужина времени не осталось. Минуя лифт, я сбежала по лестнице на второй этаж.

Петр Петрович вполне мог в это время прогуливаться, готовясь к вечерней трапезе. Но он, к счастью, оказался у себя.

Я сбивчиво объяснила ему ситуацию.

– Ягоды на одного покупает... Не угощает дам. А ведь любит их. Любит!.. Так? – Он колюче взглянул на меня. – Заботиться о судьбах музыки, литературы, даже всего человечества в целом гораздо легче, чем о судьбе одной конкретной Нины Игнатьевны. Так?

– Я это сказала ему.

– Чем могу быть полезен?

– Вы ведь хотели прочитать лекцию о кибернетике. Прочтите сегодня, а? И спасете конкретную Нину Игнатьевну. Она даже фильма не заказала. Понадеялась.

– В клубах любят тематические мероприятия, – пробурчал он. – Чтобы соответствовало текущему дню.

– Кибернетика вполне соответствует. В более широком смысле! – продолжала я уговаривать.

– Нынче праздник освобождения. Так?

– Не будь этого праздника, и наука бы не развивалась. Ничего бы не было... Ничего. Все тематически сходится!

– Вашего Геннадия Семеновича выручать бы не стал. Холостяки живут сами по себе. Пусть сами и выкручиваются. Так?

– Так! – подтвердила я.

– А Нину Игнатьевну жаль. Дайте мне посох!

Мы спустились вниз. И зашпешили по дороге, ведущей в город.

Петр Петрович с такой силой опирался на палку, словно хотел вогнать ее в землю. Иногда он присаживался то на пенек, то на скамейку. А если их не было, останавливался и, всем телом навалившись на свой посох, шумно, со свистом дышал. Одновременно он покашливал, чтоб заглушить этот свист: не хотел пугать меня. Вскоре я поняла, однако, что после такого физического испытания он читать лекцию не сумеет. А скорей всего вообще не дотянет до клуба...

– Петр Петрович, вернитесь в «Березовый сок».

– Переоценил силы? Так?

– Мы взяли слишком уж быстрый темп. Вот и...

В действительности мы приближались к цели очень медленно. И я, холодея, представляла себе Нину Игнатьевну, застывшую с лихорадочным взглядом на пороге клуба.

– Ведь предлагали же прислать такси. Так?

– Предлагали, – ответила я.

– А он не хотел отменять прогулку после ужина? Так?

– Вероятно.

– И из-за этого Нина Игнатьевна должна получить второй инфаркт? Эгоизм не только любовь к самому себе. Это еще и равнодушие ко всем остальным. Вот в чем его злобедность! Так?

Я согласилась.

Он говорил это, навалившись на палку и будучи не в силах оторвать от нее худое согбенное тело. Вечер в клубе уже должен был начаться.

– Возвращайтесь в «Березовый сок», – опять попросила я. – Мы все равно не успеем. Идите осторожно: уже некуда торопиться. А я все-таки доберусь до города. Надо ей чем-то помочь.

Ничего не ответив, он повернулся и угрюмо побрел назад, стремясь вогнать свою палку в землю.

Несколько раз мне доводилось провожать Нину Игнатьевну в город. И я знала дорогу... Но тут я сообразила, что можно сократить время, если не огибать худенькие деревья-подростки, редкий, сквозной лесок, а пересечь его напрямую. И побежала, царапаясь о кусты... Я забыла старую истину: торопясь, надо бежать только знакомой дорогой. Лес оборвался – и я очутилась

у пруда с ненадежными, заболоченными берегами. Пришлось возвращаться и огибать молодой лесок.

Я уже не смотрела на часы. Протяженность минут многолика: она меняется в зависимости от нашего душевного состояния. Если мы с нетерпением чего-то ждем, минуты невыносимо тягучи, а если боимся опоздать и торопимся, они тают мгновенно, как снежинки, падающие на теплую руку.

Я понимала, что спешить уже незачем. Но спешила... Путь был длинней, чем всегда, а минуты короче.

Наконец, как сторожевые, показались первые разбросанные вдоль дороги домики. Этажи росли по мере моего углубления в город. Я пересекла несколько улиц в неположенных местах... Согласно «закону подлости» меня должны были остановить и оштрафовать, но все обошлось. Перейдя с бега на утомленную иноходь, я миновала квартал, напоминавший выставку новых домов. «Экспонаты» завершались трехэтажным клубом, вокруг которого, хоть сумерки только начинали сгущаться, беззаботно, не мигая, сверкали лампочки. «Может быть, все хорошо?» – подумала я.

«Добро пожаловать, ветераны!» – зывал плакат над входной дверью. Вестибюль был пуст. Гардероб тоже... Я взбежала на второй этаж, В зрительном зале издевательски ярко сияла люстра, озаряя ряды пустых стульев.

Я взглянула на сцену... Возле длинного стола, украшенного стеклянными вазами с ромашками и васильками, опутив голову, стоял Гриша. В руках у него тоже были цветы.

– А где... ветераны? – спросила я. Он очнулся и, ничуть не удивившись моему появлению, ответил:

- Они разошлись.
- Их было много?
- Полный зал.
- А мама где?
- Поехала в санаторий. Телефон там все время был занят.
- Отдыхающие разговаривают.
- Геннадий Семенович умер? – спросил Гриша.
- Что ты?! Откуда ты взял?
- Почему же он не пришел?

...Я вошла в свою комнату. Было темно и тихо. Я зажгла свет... Нина Игнатьевна лежала на кровати с открытыми глазами. Мне показалось, она не дышит. Я дотронулась до нее. Она вздрогнула. Вблизи было видно, что глаза ее блестят так же воспаленно, как всегда.

- Что с вами? – спросила я.
- Ничего. Я устала.
- А где Геннадий Семенович?
- Он в кино.

Я бросилась в кинозал.

Меня вновь провожали недоуменные взоры: в «Березовом соке» бегали только с кислородными подушками и шприцами.

Я возникла в дверях кинозала, чуть разжижив густую тьму, как возникала дежурная, вызывавшая к телефону. И ее же голосом произнесла:

– Геннадий Семенович Горностаев. Заскрипел стул... Поднялась величественная фигура и двинулась к выходу.

– Быстрей. Вы мешаєте! – раздался обязательный в таких случаях голос.

Движение фигуры осталось величественным.

До березовой рощи мы шли молча, словно все еще боялись ворчливого голоса.

– Мне стало легче, – объявил Геннадий Семенович. И попытался доверительно взять меня под руку. Но я вырвалась. – Вы не знаете, что такое сердечные перебои... – продолжал он. – Не знаете, что такое сердечная недостаточность. Это болезнь века! – Кажется, ему льстило, что и тут он был «с веком наравне». – Сердечная недостаточность... Эхо инфаркта... Как «эхо войны»!

– Хотя бы не вспоминайте о войне!

– Почему?

– Вы сказали, что возродились «для слез, для жизни, для любви». Нет, только для слез! Для чужих... На которые вам наплевать. Для слез Нины Игнатьевны, Гриши. – Я рывками вытаскивала из карманов бумажки, вероятно нужные мне, и ожесточенно рвала их. – Вы гораздо старше меня... Но я все равно скажу, что вы поступили отвратительно, подло. Испортили людям праздник. И каким людям! Они освобождали этот город, эту землю, по которой вы сейчас ходите. На которой спасаете свое здоровье! «Жизнь на одного»? А они сражались и погибали ради всех нас. Слышите? Ради всех!

– Вы женщина... и я по этой причине лишен возможности... – проговорил он.

На следующее утро, когда «Березовый сок» по традиции собрался в столовой, место Геннадия Семеновича пустовало.

– Неужели он опять заболел? – с виноватым беспокойством сказала Нина Игнатьевна. – Надо подняться к нему.

– Он стесняется, – пробурчал профессор Печонкин. – Люди ведь только делают вид, что не осознают своих подлых поступков. Они все осознают: хорошее – вслух, а скверное – молча, про себя. Так?

Я представила, что после вчерашнего разговора в аллее Геннадию Семеновичу стало совсем плохо.

– Помните, в повести «Спутники» одного солдата... кажется, это был солдат... принимают за симулянта? – сказала я. – Все с презрением отворачиваются от него. А он в это время умирает на верхней полке санитарного поезда. Помните?

– Горностаев не солдат, – глядя в тарелку, процедил Петр Петрович.

– Вы не правы. Надо подняться! – повторила Нина Игнатьевна.

– Надо, – согласилась я.

Мы долго ждали лифта, потому что опаздывавшие к завтраку «послеинфарктники» перехватывали его на этажах. Кабина, не успев нас впустить, уплывала вверх: отдыхающие покидали ее слишком медленно, неуклюже, так что двери прихватывали их пиджаки и пижамы. Лишь некоторые, увидев меня, молодцевато приободрились.

– Пойдемте пешком, – предложила Нина Игнатьевна: она очень беспокоилась.

И у меня по спине, как обычно в такие минуты, что-то задвигалось.

– Я могу сбегать. А вам нельзя.

Наконец мы добрались в кабине до четвертого этажа. В комнате Горностаева шла уборка. Дежурная нянечка меняла белье. Вещей Геннадия Семеновича не было.

– Где он? – спросила Нина Игнатьевна.

– Уехал в Москву, – сбрасывая на пол пододеяльник, ответила нянечка.

– А когда вернется?

– Совсем он уехал. До срока не дожил. Вошла медсестра и, по-хозяйски оглядев комнату, сообщила, что сейчас явится «вновь прибывший».

– А почему Горностаев не дожил до срока? – таким голосом спросила Нина Игнатьевна, что фраза приобрела совсем иной, трагический смысл.

– По семейным обстоятельствам.

– У него нет семьи, – зачем-то сказала я.

– Это нас не касается! – с мимоходной строгостью заметила сестра. – Полотенца заменили?

– Заменила, – ответила нянечка.

По поводу отъезда Горностаева ликовал только Гриша. Он явился из города и полдень и, узнав, что Геннадия Семеновича больше не будет, воскликнул:

– Пойдем на пруд!

Из всех обитателей «Березового сока» купаться было разрешено только мне.

Я по совету Павлуши время от времени жаловалась на покалывания в груди и спине.

– Острый невроз! – установил лечащий врач. Профессор Печонкин, услышав про этот диагноз, сказал:

– Самое лучшее – ограничиваться болезнями, которые есть у всех. Так?

– Безусловно, – согласилась Нина Игнатьевна.

– Невроз, расстройство вегетативной системы... Нормальный человек обязан иметь все это! Отъезд Горностаева профессор одобрил:

– Не долечился? Значит, есть совесть. Это хорошо. Так? – Он стал вгонять свою палку в землю, что свидетельствовало о волнении или глубоком раздумье. – Освежите невроз в пруду, – посоветовал он мне. – А мы с Ниной Игнатьевной постоим на берегу и подышим. Значит, не долечился?..

К обеду мы с Гришей вбежали в столовую столь бодрые, как если бы отдыхали в пионерлагере под названием «Березовый сок».

Нина Игнатьевна всегда опасалась, что присутствие сына вызовет чье-либо недовольство.

– Потихе, – сказала она.

– Воспоминания о молодости полезней укола, – возразил ей профессор Печонкин. – Пусть смотрят на них и вылечиваются!

Я предложила, чтобы Нина Игнатьевна в ближайшие четыре дня, которые не дожил Геннадий Семенович, кормила Гришу его обедами, а не делила свои на две части.

– Я его обед не хочу! – обиделся Гриша.

– Горностаев должен был оставить в бухгалтерии соответствующее завещание, – объяснил мне профессор. – А так... нельзя.

Нина Игнатьевна решила прервать этот разговор:

– Мне запрещено много есть.

Гриша, словно врач, немедленно подтвердил. В дверях возникла гардеробщица и, заставив всех оторваться от тарелок и повернуть головы в ее сторону, провозгласила:

– Андросову – к телефону!

Конечно, звонил Павлуша. Прежде всего он поинтересовался, как прошел вечер ветеранов в день освобождения города. Я ответила, что вечер пришлось отложить. Но по какой причине, не стала объяснять, потому что видела за стеклом нервное ожидающее лицо «послеинфарктницы», которая проводила в душевной телефонной кабине половину срока своей путевки.

Павлуша расстроился, посетовал на беспощадную силу обстоятельств. Потом «отошел» и радостным тоном известил меня, что почти уже достал «из-под земли» путевку для Алексея Митрофановича.

– Буквально из-под земли!

– Спасибо, – сказала я ему. И почувствовала, что могу расплакаться. – Спасибо вам...

– Ну что ты! Это мой долг.

«Нет, не только „для дома, для семьи“ старается Павлуша, – еще раз подумала я. – Как же мы бываем несправедливы!»

В заключение он рассказал, что из далекого сибирского города звонил мой отец, которого Павлуша всегда называл моим «папой».

– Интересовался, как ты сдала экзамены в университет. Очень был рад... Просил передать поздравление и привет. Они там еще в одном месте обнаружили нефть.

«Тоже подземных дел мастер!» – безразлично подумала я об отце.

Павлуша обещал позвонить на другой день в час ужина.

Но Павлуша не позвонил.

– Человеку свойственно искать причины для тревог, – сказал профессор Печонкин. – Пойдемте все вместе в кино. Он позвонит завтра. Ведь так?

– Он позвонит! – пообещала и Нина Игнатьевна.

Я нервно кромсала в столовой салфетки и вскоре восседала посреди мусора. Гриша нагнулся, собрал все бумажки и положил их на стол.

– Пойдем в кино... – попросил он меня.

Но я не пошла.

Профессор Печонкин дал мне талончик на пятиминутный разговор с Москвой. Когда я направилась в сторону гардероба, он постучал палкой по полу. Я обернулась.

– Возьмите еще талон, – сказал он. – Можете разговаривать о чем-нибудь. Так? И назовите телефонистке мою фамилию. Печонкин!

– Я знаю.

– В кабине можно запомнить. Я, например, когда слышу междугородных телефонисток, теряюсь.

Я знала, что Павлуша не мог забыть о своем обещании, не мог нарушить его без причин. Без какой-то особой причины!

Женщина, проводившая свой отдых в телефонной кабине, и на этот раз была там.

Она долго выясняла, покупают ли кому-то творог на рынке. Потом объяснила, как надо делать компресс.

Я смотрела ей в спину со злым нетерпением... Когда нас волнует что-то свое, мы глухи к чужим заботам и бедам. Я, по крайней мере, была глуха.

«Почему так долго не дают Москву?» – придерживая рукой вдруг обнаружившееся сердце, думала я.

К телефону подошла мама. Голос ее всегда был еле слышным, будто она говорила сквозь свой платок.

– Почему Павлуша не позвонил? – сразу спросила я.

– Он у Корягиных.

– А что у них?

– Алексей Митрофанович умер.

Я примчалась в контору «Березового сока» и сообщила, что уезжаю в Москву.

– Что за эпидемия? Вчера один уехал, сегодня еще... – без укора, а с огорчением сказала пожилая сердобольная женщина, явно не желавшая меня отпустить. – Для лечения определенный срок установлен.

– Мне очень нужно!

– А с врачом ты это согласовала? – по-матерински заинтересованно спросила она.

– Мне все равно очень нужно!

Она взглянула на меня повнимательней – и сразу достала из ящика толстую, разлохмаченную папку путевок.

– Как твоя фамилия?

Я ответила.

Она отыскала путевку. Стала разглядывать ее. Я тоже взглянула... И увидела, что на первой, второй и третьей строках были зачеркнуты какие-то слова.

– Можно мне посмотреть?

Она протянула путевку.

«Корягин Алексей Митрофанович» – было написано лиловыми чернилами и зачеркнуто черными. А сверху было втиснуто: «Андросова Галина Евгеньевна».

– Заявление напиши. С объяснением причины, – все тем же огорченным голосом попросила женщина.

В отчаянные минуты мысли путаются. Но одновременно всплывают факты, словно желающие усугубить, обострить отчаяние. И жестоко все проясняющие... И вспомнила, как в поезде, заботливо провожая меня, Павлуша объяснял:

– Это редкостное везение, что подвернулась путевка. Горящая!.. Один человек должен был ехать. Но я объяснил, что ему после больницы можно и дома побыть, а уж потом – в санаторий. Куда торопиться? Он согласился. Тебе ведь первого сентября в университет надо. Я объяснил... И он, можно сказать, сам предложил.

– Сам? – переспросила я.

– Сам! Я что-то не то сказал?

«Не то сказал? Не то сделал. Не то!.. Не то! – билось в висках. – Зачеркнули фамилию... Жизнь человеческую перечеркнули! Для дома, для семьи? Горящая путевка?»

Она горела в руках... От моего стыда, от моего ужаса.

– Напиши заявление, – повторила сердобольная женщина.

Она не знала, что из-за меня умер человек. Человек умер...

«Дорогая Анна Васильевна!»

Вы можете разорвать мое письмо, не прочитав его. Разрешите все же мне, как виновной, произнести последнее слово. Выслушайте меня! Я знаю, за уроки, за опыт надо „платить“. Но я заплатила за свой опыт чужой жизнью. Это преступление... Я понимаю... Выслушайте меня!»